

Людам, до которых мне хоть сколько-нибудь есть дело... я желаю, чтобы им не остались неизвестны глубокое презрение к себе, муки неверия в себя, горечь и пустота преодоленного; я им нисколько не сочувствую, потому что желаю им единственного, что на сегодня способно доказать, имеет человек цену или не имеет: в силах ли он выстоять...

Фридрих Ницше

Пролог В КАМНЕ

I. БЕРЛИН

8–9 декабря 1944 года

Казнь, судя по всему, предстояла на рассвете.

До того как распахнулась дверь, кое-что уже предвещало, что всё близится к концу. Медленно оживало сознание: это означало, что инъекции отменили.

Как часто их делали — два раза в сутки, три? Смертник осознавал лишь то, что краткое ощущение холодной иглы в вене приходило регулярно. Особенно неукоснительно соблюдали регулярность после одного случая, когда медик то ли из-за воздушной тревоги, то ли по какой другой причине время очередной инъекции пропустил. Немногом позже врач вспомнил о своей обязанности и в сопровождении унтер-офицера зашёл в камеру — но из камеры вместо медика появился заключённый, за которым, будто на привязи, сомнамбулически шествовал унтер. Правда, далеко смертник не ушёл. Несколько солдат сбили его с ног и принялись лупить прикладами, не столько в ярости, сколько в страхе, и избивали до тех пор, пока узник не потерял сознание — и в это же самое мгновение безучастно стоявший рядом унтер-офицер будто очнулся от сна.

С того дня уколы смертнику ставили даже в разгар авианалётов, когда глухие удары где-то там, наверху, казалось, порождали ответные удары из недр земли. На ру-

ки и на ноги наложили прикованную к стене длинную цепь. Участились ночные проверки. Узника, впрочем, это не волновало. Ненадолго выныривая из тяжкого забытья, он думал лишь о том, как удержать в непослушных руках ложку или кружку с водой или как проделать пару шагов от кровати до прикрытой деревянной крышкой дыры возле обшарпанного умывальника. Ещё беспокоился, не поломали ли ему рёбра, когда били за ту безнадёжную попытку выбраться из тюремного подвала. Физической боли он давно не чувствовал: кололи ему, очевидно, смесь морфина со снотворным. Возможно, подмешивали что-то ещё. В нечастые периоды прояснения сознания он молился, чтобы проклятое зелье не убило его прежде, чем он сумеет отсюда выбраться.

В то, что ему удастся выбраться живым, смертник продолжал верить даже тогда, когда конвоиры вывели его из камеры: оставались ещё последние глотки надежды, последний шанс.

Но прежде была тихая ночь, что накрыла всё его существо, словно прохладная ладонь, лёгшая на разгорячённый лоб больного. Первая ночь, когда отступили тёмные волны болезненной, давящей дремоты. Раньше свинцовые валы захлёстывали узника с головой, он из последних сил сопротивлялся, таращась в низкий потолок — остроты зрения не хватало на то, чтобы разглядеть сеть трещин в штукатурке, — потом вся плоскость потолка ухала вниз, и узник захлёбывался очередным кошмаром или просто тонул в пустом мертвенном сне. Выплывавая обратно, в мир ненадёжной, тошнотворно-текучей вещественности, он слышал шаги рядом, чувствовал, как его руку расправляют, поворачивают локтевым сгибом кверху, ощущал холод смоченного в спирту клочка ваты и чужеродность металлического проникновения под кожу, слышал:

— Спи.

И едва державшееся на плаву сознание вновь шло ко дну. Однако, пока новая порция зелья расходилась по жилам, смертник успевал осознать, насколько же его личный Морфей боится своего пациента. Боялась узника и охрана. Они все испытывали страх перед ним — по рукам и ногам

скованным цепью, в наркотическом бреду пускающим слюни на продавленный матрас. Они знали, что смертник мог их *слышать* — через стены и перекрытия, через многие метры душной подвальной тишины, через железную дверь камеры — он, ещё не успевший провалиться в трясику отравленного сна, способен был разобрать не то что каждое слово, произнесённое хоть шёпотом, нет, куда больше: малейшее движение чужой мысли.

Прочих заключённых водили по утрам в комнату для умывания, где они могли побриться, — смертника без крайней необходимости не выводили никуда. На дверь навесили пару дополнительных тяжёлых засовов, едва выяснилось, что узник умеет открывать замки одним лишь усилием мысли. Но для того требовалось сосредоточиться, что было уже не под силу утонувшему в дурмане разуму.

Нынешней ночью дурман рассеялся. Мало-помалу все чувства оживали, и память по кускам извлекала себя из небытия.

Темнота запредельной концентрации клубилась вокруг. Узник провёл ладонью по матрасу, почувствовал под пальцами холод железных прутьев: спинка койки. За дрожащей от слабости рукой тянулись звенья тяжёлой цепи. И вот тут память распахнулась первым осознанным воспоминанием: он уже видел такую койку и такие цепи — не слишком далеко отсюда, примерно в девяносто километрах на север, в одном из многочисленных концлагерей «тысячелетнего рейха» он видел в точности такую же картину, как та, которую являл собой теперь.

Запорошённая земля сливалась там со снежным январским небом. Лишь бараки темнели. Ровные ряды низких длинных бараков служили единственным ориентиром в белой мгле.

Служебное задание, очередная командировка — он и вообразить не мог, что она окажется командировкой в ад.

Он видел «жилые» бараки, наполненные разновозрастными женщинами, медленно погибавшими от голода и болезней, видел медицинские лаборатории, где заключённым изошрённо помогали умирать, и видел тамошний морг. Собственно, морг там был везде — порой тела лежали штабелями прямо на улице, и снег сыпал

в оледеневшие мёртвые лица. Женский концлагерь Равенсбрюк — так называлось то место.

Он-то в те времена был отнюдь не заключённым. Он, молодой карьерист, приехал в концлагерь расследовать одно дело. И носил щеголеватый офицерский мундир. Почти такой же, как у тамошних офицеров охраны. Специалист по незримому, он выяснял обстоятельства загадочной гибели надзирателей и допрашивал узников. Вот комната для допросов в штрафблоке, вот широкая железная столешница, а по ту её сторону — только что приведённое из карцера существо, едва похожее на человека. Бритоголовое, хрупко-тощее, в каких-то коростах — оживший мертвец с картин Брейгеля-старшего. Главный подозреваемый... подозреваемая. Девушка, с убийственной ненавистью смотревшая на немецкого офицера напротив.

Он уже понял: это она убивала надзирателей. Без оружия, даже не притрагиваясь к ним — но убивала.

Он долго думал, прежде чем принять решение.

— Я знаю о ваших способностях. И хочу предложить вам сотрудничество. Вы покинете концлагерь, если будете работать в той организации, которую я представляю. Вы согласны?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я вас ненавижу.

Удивительным казалось, как это одичавшее существо ещё не позабыло человеческую речь. Но позже оно уже не говорило, даже не шевелилось: пластом лежало в камере-одиночке, прикованное толстой цепью к койке, что тихо дрейфовала в сторону небытия, которое стало бы для этой узницы — как и для тысяч других, наступивших той же участью, — единственным выходом из заключения. Если бы он тогда не забрал её с собой из лагеря, несмотря на её отказ сотрудничать. Вместе с несколькими десятками других, теми, кому повезло несравнимо больше прочих.

Он никогда этого не забудет.

Баракы, истощённых жёниц на нарах, камер, коек, цепей. Чужой боли. Собственноручно составленных спи-

сков — перечня людей, от которых остались лишь обтянутые кожей кости да номера вместо имён. Изнурённого, презрительного и полного ненависти взгляда той заключённой. Железная койка и тяжёлые цепи...

Цепи, которые теперь были и на его руках. В поразительной симметрии явственно просматривался почерк высшего возмездия — узник горько усмехнулся этой мысли.

В кошмарах ему, бывало, чудилось, как он плутает в недрах вырубленного в скале лабиринта, а где-то, в самой глубине, беспрерывно долбят и крошат камень, и этот гулкий звук отдаётся в самой сердцевине костей. Ещё ему мерещилось, что за пределами его камеры ничего нет, кроме бесконечной скалы, и он, скорчившийся на своей койке, обречён на вечное пребывание в мёртвой каменной утробе, где густая тьма — как давно остывшие околплодные воды.

...Теперь вместо лагерных бараков за снежной сетью темнели высокие каменные конструкции. Вертикально поставленные гранитные плиты в несколько метров высотой. Три ряда мегалитов окружали заснеженную площадь, к центру которой пролегла одинокая цепочка следов.

Он стоял посередине площади, перед запорошённым каменным возвышением вроде алтаря.

Он, учёный с офицерским званием, был отнюдь не историком — и потому его нисколько не занимали замшелые тайны археологических памятников. Но его завораживала та геометрическая выверенность, что легко читалась в каждой линии этих отполированных камней. Послание из прошлого, запечатлённое в граните; оно несло в себе нечто несравнимо более важное, нежели вульгарные кровавые тайны канувших в прошлое культов. Чистая, как лёд, но ещё непостижимая рациональность, осязаемая, но пока непонятная логика. Именно это его и покорило.

Он уже прочёл всё, что только сумел найти, — все книги, статьи, записанные местными энтузиастами легенды, где хотя бы вскользь упоминалось это место.

И когда он стоял там, среди древних камней, слушая торжественную снежную тишину, разрозненные фраг-

менты доисторического послания, наконец, сложились в его сознании.

Это оказалась готовая научная теория. И ещё — готовый проект. Оружие. Ведь его родине так требовалось чудо-оружие.

Но всё это было позже.

А тогда он просто мельком взглянул на часы и увидел, что стрелки остановились — как остановил своё движение и снег вокруг, мерно падавший ещё мгновением раньше...

Неумолимо подступающие воспоминания, словно прибой, рокотали на горизонте сознания. За многие дни, а то и недели пребывания между сумерками полуосознанности и глубокой тьмой полной бессознательности узник успел отвыкнуть от своей памяти — этого цепкого, непрестанно царапающегося, ненасытного чудовища. Слишком много всего сразу. Слишком резкие, яркие картины. В том числе и такие, которые он рад был бы вовсе забыть: слишком острое чувство вины они теперь вызывали.

...Он неторопливо шагал мимо шеренги новобранцев и всматривался в лица солдат. Этим семнадцатилетним мальчишкам предстояло пройти своего рода вступительные испытания — те, кто покажет себя достойно, должны будут составить его спецотряд. Он старался избавиться себя от мыслей о том, что эти парни могут погибнуть — и, скорее всего, погибнут в ближайшее время — но отнюдь не в бою.

Невысокий пепельноволосый парень ближе к краю строя покосился на него с неприязненным недоверием, будто предчувствовал что-то. Узник тогда лишь усмехнулся: он знал, что очень скоро наглец будет смотреть на него по-другому — если пройдёт отбор.

Прошло совсем немного времени, и солдаты уже взирали на него, как на бога. В том числе и тот, сероволосый. А он смотрел на них как на устройство одноразового применения, нечто вроде живого аккумулятора. Это был его источник жизненной силы, его «доноры», его резерв — чтобы не погибнуть самому среди древних каменных экранов и дополнивших их новых стальных отражателей на деревянных каркасах.

И те мальчишки погибли за него. Почти все. Правда, случилось это раньше, чем они успели выполнить миссию, для которой он их готовил. Когда эхо выстрелов внезапно взломало древнюю гранитную тишину...

Руки его произвольно дёрнулись, исхудалые пальцы сжались. Бряцнула цепь. Да, у него тогда не было выбора. Но любая фронтовая мясорубка — участь куда менее определённая, чем та, что неминуемо ждала его парней: на фронте есть хотя бы призрачный шанс выжить.

Узник напряжённо смотрел во тьму. Вслушивался в смутную боль, зарождавшуюся под черепным сводом. Сколько он уже здесь?.. Так ли это важно. Он должен выйти отсюда. Выйти живым. У него есть обязательство — не перед собой, нет, — жить.

...Хотя ещё не так давно он думал, что не найдёт в себе сил жить после того, что совершил.

Пламя костра было таким высоким, что, чудилось, от него зарделись рассветные небеса. И было это пламя таким опаляющим, что душа тогда вспыхнула, будто хворост, и теперь от неё остались лишь тлеющие угли. Узник сжёг тогда всё — отражатели, чертежи. Собственными руками уничтожил будущее. Своё будущее и будущее своей родины.

Два года работы, два года надежды. Его не остановило даже скептическое отношение верхов к его исследованиям — и к его изобретению, подобного которому ещё никогда не использовали в войне. Не остановили даже — в конце концов — недоверие самого фюрера и приказ отменить операцию. Он велел своим подчинённым убивать всякого, кто осмелится препятствовать. И те убивали. Он сам едва не погиб в перестрелке. Не раздумывая, пошёл против приказа главы государства, и всё же...

И всё же — изобретение, которое могло бы принести его родине победу, сгорело в пламени большого костра.

Ведь стоило ему сомкнуть глаза, как он вновь оказывался в пепельно-снежной пустыне концлагеря и видел, что люди способны сделать с другими людьми во имя будущего. Истощённая и избитая полумёртвая заключённая на грязном тюремном матрасе — и ведь их таких

были тысячи — с такой ценой за будущее своей родины он смириться не сумел.

Он сам решил уничтожить то, с помощью чего намеревался помочь своей родине выиграть войну.

Он сам сделал выбор. И никакие приказы не имели значения...

Как, по большому счёту, не имело значения и то, что его теперь всё равно осудят — за неповиновение и за то, что его подчинённые убивали тех, кто пришёл остановить его.

Лишь одно было существенно — он должен был жить. Несмотря ни на что.

...Заключённая — та самая, из концлагерного штрафблока. Теперь её было не узнать: миниатюрная девушка с отросшими тёмно-русскими волосами, с лицом чистой, тонкой, как лепестки нимфеи, прозрачной белизны. На сей раз она сидела не за грубым железным столом в комнате для допросов, а за дубовым лакированным, в начальственном кабинете, уставленном книжными шкапами. Нынешний узник снова сидел напротив, писал очередной отчёт. Порой поднимал на неё глаза — и каждый раз встречал ответный взгляд. Взгляд без тени прежней ненависти. Солнечный взгляд. Если бы только не его чёрный офицерский мундир — и не её тёмно-синяя униформа бывшей лагерницы, курсантки из закрытого полутюремного заведения...

Отныне именно о ней он думал в первую очередь, когда размышлял об участии заключённых концлагерей. Вспоминал, что мог бы и не успеть её спасти.

Отныне он всегда о ней думал.

О ней же думал и тогда, когда сжѐг в костре будущее. Не её будущее, нет. Своѐ собственное. Ради таких, как она. Ради неё.

Тем временем уже давала о себе знать цена пробуждения. Растущее невнятное беспокойство узник поначалу и не думал связывать с тем, что его отлучили от зелья. Не жажда, не голод и не удушье — но нечто сродное всему этому: гнетёт, и тянет, и словно выедаёт изнутри. Он ворочался на койке, будто порывистые движения могли принести облегчение. Пытался отвлечься на что-нибудь — но

предутренняя тишина приносила лишь обрывки тяжёлых сновидений тех, кто был заключён по соседству. Если бы он большую часть времени не пребывал в сонном оцепенении от наркотиков, то целыми днями чувствовал бы их боль, бесплодную ярость, страх — и страха здесь было куда больше, чем всего прочего. Порой казалось, что страх должен был оседать повсюду в этом здании, липко-серым конденсатом на кабинетных и подвальных стенах.

Лампа под потолком внезапно разразилась полоумным светом, на мгновение ослепив. После непродолжительного лязга отворилась дверь. Узника поставили на колени и освободили от оков под бдительным надзором двух узких автоматных рыл — лица солдат он разглядеть не мог, зато покачивающиеся перед глазами автоматные дула видел отчётливо, и эти штуки исключали любую глупость с его стороны.

Потом его повели вверх по лестнице, подталкивая стволами автоматов в спину, а он спотыкался на высоких ступенях, едва не теряя стоптанные, без шнурков, ботинки с чужой ноги, громко шлёпавшие при каждом шаге и всё норовившие соскользнуть с его длинных, узких голых ступней. Спадавшим опоркам вполне соответствовали лишившиеся пуговиц галифе, которые приходилось кое-как поддерживать связанными за спиной руками (на замки наручников охрана больше не полагалась). Пуговицы со штанов срезали ещё перед первым допросом — обычный здесь способ унижить арестантов. Прочую одежду смертника составляла лишь грязная рубаха.

По коридору первого этажа гулял ледяной сквозняк, и такой же сквозняк навывлет продувал душу. Узник знал, куда и зачем его ведут. Он *слышал* намерения конвоиров, а ступени под ногами помнили покорный ужас тех, кого по этой лестнице выводили на расстрел. В том числе и тех, кого осудили по его делу. Сумеет ли он хоть что-то сделать? Эта нестерпимая слабость в теле — от голодного пайка, от наркотиков? Или от страха?

Были среди его предков те, кто окончил свои дни на плахе. Память о них обязывала выпрямить спину (насколько позволяли связанные за спиной руки и сползающие штаны) и надменно вскинуть подбородок. В конце концов,

со стороны тюремщиков это было по-своему честно: позволить ему в последние минуты жизни пребывать в ясном сознании. Умереть с достоинством. Ведь могли бы просто-напросто впрыснуть в вену смертельную дозу зелья.

Его привели в кабинет, по размерам мало отличавшийся от камеры. Обвинитель, едва посмотрев на смертника, уткнулся в бумаги. Они все тут считали опасным встречаться с ним взглядом, как будто он был помесью человека с василиском. Хотя внешность узника — удлинённое сухое сложение, рост под самую притолоку и чересчур, пожалуй, широкий рот на узком лице — и впрямь словно бы намекала на не совсем человеческую природу.

В соседнем помещении без конца надрывался телефон. Окно было наглухо забито фанерой и напоминало повязку на выколоте глазу.

Узник переступил с ноги на ногу: у него начинала кружиться голова. Только этого не хватало. Собрать всю силу, всю злость, всё отчаяние. Остался последний — смехотворно ничтожный — шанс. В здании их слишком много. Но когда его выведут во двор... Хотя что тогда? Что?

От нескончаемой телефонной истерики уже сверлило в висках. Чиновник не спешил: сонно перебирал бумаги, и казалось, всё это будет длиться до окончания времён. С трудом различимые сквозь дымку близорукости очертания комнаты и сгорбившегося за столом человека зыбко плыли куда-то. Узник из последних сил заставлял себя стоять прямо и глядеть надменно.

Ну же.

Где, наконец, этот чёртов приговор: *«Именем фюрера...»*

II. ТЮРИНГЕНСКИЙ ЛЕС, ОКРЕСТНОСТИ РАБЕНХОРСТА

6 декабря 1944 года, утро

— Вы что, в самом деле, сговорились? Вы предстанете перед военным судом! Оба!

Те, кому предназначены эти слова, невозмутимо курят и смотрят в разные стороны. Первый, инженер — пря-



мой и неуклюжий, как шпала, в угловатом пальто, словно склёпанном из кровельного железа, — стряхивает с сигареты пепел заскорузлым пальцем и делает вид, что его ровным счётом ничего не касается. Второй — щеголеватый офицер с холёными усами и завитками на висках, эдакий румяный гусар с картинки, стоит вполоборота, с такой миной, будто он здесь по досадной случайности и проездом.

— Объект следовало сдать ещё неделю назад! Что у вас тут творится? Прошло десять дней, и хоть бы что-нибудь сдвинулось с места!

Наискось мощёной площади тянутся снежные валы, над гребнями которых, смахивая ледяную пыль, со свистящим шорохом проносится позёмка. Площадь окружена тремя рядами вросших в землю, одетых по низу снежными заносами каменных плит, похожих не то на надгробья великанов, не то на гигантские, в несколько метров высотой, изваяния акульих плавников. Генерал смотрит по сторонам, но не видит ни площади, ни мегалитов, ни недостроенного сооружения, посреди древнего капища нацелившего в рваное небо копыя арматуры, — видит только остановившийся, испорченный механизм. Механизм, где движущая сила — приказы, а детали — люди, машины, обстоятельства. Генерал — специалист по такого рода механизмам. И пусть его считают рвачом, хватающимся за всё подряд и подгребаящим под себя все должности, до которых только достаёт сил дотянуться. Он способен поддерживать такие механизмы в рабочем состоянии, в отличие от многих.

— Ну, что на сей раз? Опять кого-то бродячие собаки покусали?

— Волки, — поправляет инженер. — Это были волки, а не собаки, группенфюрер¹.

— Волки-убийцы. — Когда генерал улыбается, от крыльев его крупного носа к углам рта прочерчиваются острые складки, а полная нижняя губа оттопыривается

¹ Группенфюрер — звание высшего офицерского состава в СС — вооружённых элитных формированиях нацистской партии Германии. Соответствовало званию генерал-лейтенанта.

вниз. — А вам известно, что последнего волка в Тюрингенском лесу пристрелили в середине прошлого века?

— Об этом стоило бы рассказать погибшим, группенфюрер, — тускло-стальным тоном отвечает инженер.

— К вам приставлена целая рота солдат.

— Да. Четверо уже сошли с ума. Слышат голоса и всё такое прочее. Остальные мечтают о Восточном фронте. Даже там, по их словам, безопаснее, чем здесь.

Генерал решает оставить пока инженера в покое и обращается к самодовольному щёголю с налётом чего-то антикварного в облике:

— Ну а вы, Валленштайн, это ведь вы специалист по всякой чертовщине! Почему у вас тут волки да какие-то, видите ли, голоса? Почему не ликвидировали?

— Виноват, группенфюрер. — «Гусар» бросает сигарету под ноги и, по-видимому, пытается придумать что-нибудь ещё, более содержательное. Генерал подбавляет желчи в голос:

— Вот что тут скажешь о цене всего вашего отдела, если даже его начальник...

— Заместитель начальника, — сухо поправляет «гусар».

— Какая разница!

— Я не специалист по этим штукам. Я вас предупреждал.

— Да есть ли вообще хоть какие-нибудь специалисты в вашем шаманском отделе?

— В отделе оккультных наук.

— Да какая разница! Ваше дело — чертей гонять, так гоняйте! И вот что я вам скажу, Валленштайн: сдаётся мне, у всей вашей чертовщины есть вполне заурядное объяснение. Очень простое — саботаж!

— Это не «чертовщина», группенфюрер. Здесь нет ничего сверхъестественного. Тут действуют какие-то неизвестные нам законы. Я не специалист... Людей преследуют галлюцинации. А что их убивает... Не могу сказать. Вам лучше спросить у человека, который действительно в этом разбирается. Обратитесь к моему начальнику. К Альриху фон Штернбергу.

— Хорошо. Я удвою охрану. Обо всех подозрительных случаях докладывать мне немедленно. А теперь объясните, почему *сейчас* остановились работы.

— Виноват, группенфюрер, но объяснить мы ничего не сможем, — странно ровно произносит «гусар», а инженер с едва уловимым злорадством скрипит:

— Зато мы можем всё вам показать.

И генерал понимает, что его собеседники не просто ожидали, а мрачно предвкушали этот момент. Сейчас они с целой глыбой выразительного молчания в качестве довеска торжественно преподнесут ему нечто такое, созерцание чего, как они надеются, заставит его без промедления запретить любые работы на объекте «Зонненштайн» на долгие, если не вечные, времена.

Генерал идёт к центру площади, туда, где возвышаются бетонные опоры. Он смотрит по сторонам — низина, ровно округлая, как чаша, строгие мегалиты, огромная скала за сильно обмелевшей, промёрзшей до дна рекой. Когда-то здесь, в излучине реки, была большая запруда, а мегалиты покоились на дне, в глине, песке и иле — лишь вершины самых высоких камней сглажены водой, всё остальное, расчищенное археологами, сохранилось во всё своём отстранённом гранитном совершенстве безукоризненной полировки, сложных кривых, идеальных углов. Будто комплекс захоронили нарочно. На тысячелетия законсервированный объект. Безумная теория, но почему бы нет?

В практической бесполезности любой старинной постройки историкам всегда мерещится сакральное значение. Вот потому это древнее сооружение называют капищем: оно завораживающе-бессмысленно с точки зрения обыкновенной человеческой логики, но так же бессмысленна математическая формула для того, кто не сведущ в точных науках. Правильно выведенная формула всегда красива. А так называемое капище Зонненштайн, с его поверхностным впечатлением бесполезности, красиво дьявольски — изысканно-сложная формула, записанная в камне. Генерал уже вполне ясно представляет, какие задачи можно решать с её помощью. Но сперва надо дополнить формулу кое-чем. Тем, что придаст ей абсолютную универсальность.

Посреди площади, внутри кольца бетонных столбов, в окружении вывернутых гранитных плит распахнула

тёмный зев глубокая яма. Ещё недавно на её месте находилось нечто вроде постамента или жертвенника — огромный, глубоко уходящий в землю гранитный блок. И какой оглушительный вой поднялся в местном археологическом обществе, какой поток жалоб хлынул в Берлин, когда этот камень пришлось извлекать по частям! Впрочем, археологи несколько притихли, когда под блоком обнаружилась довольно обширная гранитная камера (вполне подходящая для размещения оборудования; но прежде генерал позволил спуститься туда археологам, которые всё равно не нашли там ничего более интригующего, чем сам факт наличия загадочной пустой камеры под многотонным блоком). Сейчас вокруг ямы не видно ни единого человека — рабочие отогнали всю строительную технику за пределы капища, а сами будто вымерли. Из прямоугольного провала вязко льётся подземная, утробная, извечная тишина. Эти вывороченные каменные рёбра по сторонам, это тёмное зияние посередине — словно вскрытая грудная клетка.

Генерал подходит к краю ямы, оступаясь на гранитных осколках и комьях смёрзшейся земли. Вниз он не смотрит, хотя распахнутое каменное нутро так и притягивает взгляд. Кажется, позволишь себе посмотреть — а потом против воли сделаешь шаг вперёд, и ещё шаг, и ещё... Скорее бы закрыли чем-нибудь эту дыру.

— Так почему остановились работы?

Инженер и офицер-щёголь тоже избегают смотреть в яму, тем не менее инженер указывает именно на неё:

— Вот, взгляните.

Генерал ожидает чего угодно — крови на стенах, груды изувеченных тел — и потому в первые мгновения тщетно всматривается в сумрак внизу, не понимая, что ему, собственно, показывают. На дне вскрытой камеры ничего нет... почти ничего. Похоже, будто человек утонул в цементе. Наружу торчит колено, часть голени в сером сукне, рука — можно разглядеть часы на запястье, — а цемент уже давно застыл.

Вот только там нет ни капли цемента. Камера вырезана в скальном массиве, пол и стены её — отшлифованный в незапамятные времена гранит.

Часть I

НА ПРИВЯЗИ



АЛЬРИХ. ПОСЛЕ ЖИЗНИ

БЕРЛИН

9 декабря 1944 года, утро

Штернберг пошатнулся, с трудом удержался на ногах. Служащий за столом выдернул из растрёпанной стопки какую-то бумагу и вдруг уставился на него с живым интересом. Без умолку трещащий телефон за стеной наконец заткнулся. Сквозь слабость и дурноту Штернберг почувствовал то, что должен был ощутить с самого начала: от чиновника не несло смертью. От стоящих по бокам солдат — да. От сидящего за столом — нет.

— Сейчас вы получите свои вещи. Распишитесь вот здесь, — очень буднично сказал чиновник. — Во дворе вас ждёт машина.

Мироздание, сжавшееся до нескольких десятков шагов — от порога этого кабинета до стены бункера во дворе, от тени последней надежды до краткого приказа офицера и залпа расстрельной команды, — вдруг раздалось до бесконечности, придавив и оглушив.

«Вы получите свои вещи».

Конвоиры, уверенные, что ведут заключённого на расстрел, были удивлены гораздо больше. Сам Штернберг не испытал ничего, кроме внезапного необоримого желания сесть там же, где стоял, прямо на пол. Разумеется, он себе этого не позволил — сделал вид, что воспринимает всё происходящее как должное. Очень старался, чтобы руки не тряслись. До него едва доходил смысл того, что требовалось подписать. Что-то о досрочном освобождении. Бросилась в глаза дата; значит, больше месяца прошло с тех пор, как... Господи, больше месяца.

Чиновник принял от него бумагу, где изломанная, вздыбившаяся вертикальными линиями подпись стояла среди мелких печатных букв как осаждённая крепость в окружении вражеских полчищ. Поднял взгляд:

— Запомните этот день, господин фон Штернберг. Видать, кто-то очень крепко молится за вас.

Быть может, так оно и было. Наверняка. Многие выходили из подвалов гестапо — если выходили — в куда более плачевном состоянии. В полутёмной, пропитанной склизкими запахами комнате Штернбергу вернули его вещи, изъятые при аресте, и позволили побриться в кафельном закутке — там в его распоряжении оказались тронутые ржавчиной ножницы и станок с гадостным тупым лезвием и ноздреватыми окаменелостями из засохшей мыльной пены. Бритва почти не брала волоса и только мучила и кровянила кожу. Казалось, заключение должно было если не вытравить, то оглушить врождённую гипертрофированную брезгливость, но на деле только истерзало и разбередило её — как эта чёртова бритва скребла кожу до кровавой росы. Чужая щетина в бесхозном станке, прошедшем через множество рук, задубевшая от пота и крови рубаха, штаны в засохшей блевотине после того допроса с применением *тонких технологий*, как их понимали в гестапо, — всё это было остро-оскорбительно, невообразимо, несносно. И ещё запах зверья.

Вообще-то ему определённо очень повезло. Зубы на месте, нос не сломан. Почки не отбиты, половые органы целы. Пальцы не изувечены, ногти не выдернуты. Правда, в один из первых дней заключения ему уродливо обкорнали машинкой для стрижки его роскошную золотистую шевелюру — главным образом для того, чтобы унизить, — и он стал похож на узника концлагеря. Подозрение на перелом или трещину ребра — слишком навязчиво болит правый бок; любому встречному Штернберг поставил бы диагноз с ходу, едва взглянув, но себя он *не видел*. И ещё рубцы на спине — в самом начале, по прибытии, после ареста в Рабенхорсте, здешние труженики, ещё не понимая, с кем связались, повели его, раненого и истекающего кровью, в камеру на четыре стола, с жаровнями и тазами, в которых мокли кожаные плётки, а пятое «посадочное место», как шутили специалисты своего дела, находилось у стены — верёвки, продетые через кольца в потолке, и вот на этих-то верёвках его растянули, невзирая на вполне однозначные предупреждения, и даже

успели пару раз хлестнуть с оттяжкой, прежде чем в той камере вспыхнуло всё, что могло гореть, включая энтузиаста с плёткой. Пирокинез дался Штернбергу тяжело: он потерял сознание и сам едва не задохнулся в дыму затейного им пожара. И вот тогда ему в вену впрыснули какой-то одурманивающей дряни и избили в первый раз. Точно, неспешно, вдумчиво и так, что он потом от боли едва мог вдохнуть. Били даже не столько за пожар — просто чтобы указать ему его место. Напомнить: он теперь никто и ничто. А ещё с вечера того же дня ему начали колоть наркотики и снотворное.

Да, вот что самое отвратительное — его с месяц накачивали наркотиками, каждый день. И теперь тело требовало зелья, и страшно было подумать, что начнётся через сутки, через двое.

Рана, с которой его доставили в тюрьму гестапо, невзирая на всё, зажила — бинты ему меняли регулярно и вообще не упорствовали в намерении изуверчить. Вероятнее всего, таково было указание сверху, и потому с допроса Штернберг ковылял на своих ногах, в то время как из соседнего кабинета выволакивали сплошной стусок боли, за которым тянулся вонючий след. Даже здесь, в гестапо, Штернберг пользовался некоторыми, с позволения сказать, привилегиями, и палачам запрещалось практиковать на нём утончённые приёмы вроде засовывания горящих тряпок между пальцами ног, опиления зубов или прижигания мошонки паяльной лампой. Его не торопились списать на свалку: мог ещё пригодиться. Мог понадобиться — и, видимо, понадобился срочно. Альрих фон Штернберг, глава отдела тайных наук в научно-исследовательском обществе «Аненербе» — «Наследии предков». Оберштурмбаннфюрер¹ СС в свои двадцать четыре с половиной года. Выскочка и наглец для сослуживцев. Выродок для семьи. Сенситив от Бога. Предатель; хотя нет, этот ярлык на него здесь не сумели навесить при всех стараниях, он последовательно гнул свою линию, даже когда у него язык заплетался от той отравы, что струилась в его

¹ Оберштурмбаннфюрер — звание старшего офицерского состава в СС, соответствовало званию подполковника.

крови, а грубоматериальный и Тонкий мир смешивались в его воспалённом восприятии в бурлящее варево. Он же в конце концов выполнил приказ фюрера? Выполнил... Отменил операцию «Зонненштайн», как от него и требовали. Но де-факто — предатель. Со всех сторон предатель...

Он перебирал свои вещи так, как перебирают вещи давным-давно умершего незнакомца. Чёрный китель с Железным крестом и лентой Креста за военные заслуги, которыми когда-то его наградили — нет, не его... *Оберштурмбаннфюрера*. Шинель, ещё хранившая слабый запах сажи от костра, в котором оберштурмбаннфюрер сжёг своё будущее. «Парабеллум» — сейчас разряженный, — из которого оберштурмбаннфюрер застрелился. Оберштурмбаннфюрер так долго вытаптывал в себе человека, так планомерно и методично его уничтожал — но эсэсовец мёртв, похоронен у подножия камней Зонненштайна, и кто теперь дрожащими руками морфиниста натягивает на себя его одежду?

Подтяжки, ремень, португя — всё спутано в клубок мятой, заскорузлой чёрной кожи. Среди его вещей не нашлось ни золотых наручных часов, ни перстней с драгоценными камнями, которые с таким небрежным шиком и легчайшим налётом вульгарности любил носить оберштурмбаннфюрер. Ничего удивительного: мертвецов обворовывают. Осталось эсэсовское серебряное кольцо — но у предателя эсэсовский перстень отобрали бы в первую очередь, так что Штернберг понял намёк: *как бы там ни было, но ты нам нужен, парень, ты по-прежнему один из нас*. Сохранился и амулет — золотой круг-солнце с лучами-молниями на золотой же цепи — эту штуку просто побоялись брать, решили, видно, что в ней заключена какая-нибудь «чёрная магия», хотя амулет был всего-навсего пижонской безделушкой.

В кармане кителя обнаружили очки. Те самые, в которых он в последний раз смотрел на скалу Зонненштайна. После ему целый месяц приходилось довольствоваться расплывчатой эрзац-картиной мира — очки гестаповцы у него отобрали ещё на первом допросе.

И вот теперь резкость всего окружающего ударила по глазам — нелепым глазам, для которых близорукость

стала ещё не самой большой бедой. Глаза у Штернберга были разного цвета: левый голубой, а правый зелёный впрожелть — и, главное, правый сильно косил. Косящего глаза словно бы нет, мозг воспринимает лишь то, что видит здоровый глаз, чтобы изображение не двоилось, — и потому Штернберг никогда не знал в полной мере, что значит протяжённость, глубина, объём, ему сложнее было определять расстояние до предметов. Косоглазие у него было всегда, сколько он себя помнил. Особенно досадный порок при громадном росте, сухой поджарости сильного широкоплечего тела и отточенной многими поколениями аристократической тонкости черт. Брак, грубая ошибка природы; ущербные — отбросы нации, таких не принимают в СС. Но ради него в своё время сделали исключение.

С шершавым жжением по подбородку и у кадыка, с нездоровой, приступами накатывающей зевотой, Штернберг выбрался из крашенных тёмной масляной краской гестаповских катакомб во двор здания на Принц-Альбрехтштрассе. Охранники отконвоировали его до самых дверей серого «Мерседеса» со служебными номерами. Сыпал снег. На тёмной стене бункера во дворе Штернберг прочёл многочисленные смерти и торопливо отвёл взгляд. Если бы его сейчас вывели на расстрел под охраной десятка человек, он, трясущийся от слабости, ничего не сумел бы сделать, как ни тешил себя мыслью, что смог бы сразить их всех энергетическим ударом или превратить в живые факелы.

Но в машине всего двое. Куда его повезут? Не важно. Надо бежать. Здесь ничего уже нет, здесь всё прах, ещё пока сохраняющий видимость людей и зданий. Весь этот город — приговорённый к смерти в ожидании расстрела, как, впрочем, и вся Германия. Останься Штернберг тогда один у Зонненштайна — давно бы лежал в земле Тюрингенского леса, где-нибудь под старой сосной, под тёплым ковром из опавшей хвои, уложенный кем-нибудь из местных крестьян в наспех вырытую могилу для безымянного самоубийцы, и это был бы непозволительно спокойный конец для того, кто предал свою родину.

От окончательного ничто его тогда отделяло лишь мгновение. Он лежал на спине, в снегу, и чувствовал нё-

бом холод мушки своего «парабеллума». Но прежде чем успел вдавить большим пальцем спусковой крючок, пистолет вырвали у него из рук. Только ствол клацнул по передним зубам. А когда он открыл зажмуренные глаза, то увидел над собой последнего из своих солдат. Хайнц — так звали того парня. И что-то такое этот парень сказал...

«Каждого человека хоть кто-нибудь да ждёт».

Есть причина, по которой ему нельзя умирать.

Штернберг сощурился, поправил очки. Двое в машине. Если он сосредоточится, то, возможно, на каком-нибудь перекрёстке, когда они остановятся, на несколько минут сумеет лишиться сознания обоих и успеет скрыться в лабиринте развалин.

Расталкивая коленями полы незастёгнутой шинели, чувствуя, что от него разит псиной, Штернберг забрался на заднее сиденье. Там его ждал некто в штатском: смуглый, совсем небольшой, остроплечий, со странной головой обтекаемой формы, напоминавшей голову насекомого (и смазанные бриолином волосы блестели как хитиновый панцирь, усугубляя впечатление), с худыми и словно бы сверх меры многосуставчатыми руками, резво выступившими нечто вроде морзянки на крышке плоского портфеля. Насекомый тип обратил на Штернберга тёмные, навывкате, глаза. Сенситив. Не самый сильный, но достаточно натасканный для того, чтобы быть непроницаемым для телепатов вроде Штернберга.

— Шрамм. Купер.

Штернберг не сразу понял, что эти слова вовсе не часть какого-то неведомого ему пароля, а так зовут набриолиненного и того, кто сидит за рулём. Водитель, белокурый викинг с плакатов, прославляющих нордическое здоровье, покосился на Штернберга через зеркало заднего вида и заодно продемонстрировал отражение своей грушевидной физиономии, лишённой малейшей тени какого-либо выражения. В отличие от чернявого, сознание этого экземпляра — Купера — неплохо читалось. Невзирая на довольно кретинский вид, дураком он, к сожалению, не был. А вот бриолиновый недомерок — Штернберг нутром чуял — был к тому же ещё и опасен.

— С сегодняшнего дня господам из гестапо угодно сопровождать меня во всех поездках?

— Думаю, в этом не будет необходимости. — Тип по фамилии Шрамм вежливо улыбнулся, показав жёлтые, но идеально ровные зубы. — У меня к вам есть дело. Точнее, два дела. Первое: господин Мюллер — вы ведь хорошо знакомы с господином Мюллером? — поручил мне передать вам кое-что. — Шрамм полез в портфель.

О да, с некоторых пор Штернберг был даже слишком хорошо знаком с господином Мюллером. С группенфюрером СС и генерал-лейтенантом полиции Генрихом Мюллером, «Мюллером-гестапо». Мюллер был его следователем. Мюллер всякий раз допрашивал его лично, и эти допросы — Штернберг явственно ощущал — стали для начальника тайной полиции своего рода спортивным вызовом и ревностно оберегаемой от чужих посягательств страстью. Мюллер приказывал колоть ему, помимо прочей дряни, какую-то «сыворотку», от которой подследственного должно было пробить на правду. Штернбергу эта отравка путала сознание, и он плохо помнил, что нёс под воздействием препарата, но в одном мог поклясться: у него хватило самообладания не признать себя виновным в том, что ему навязывали. Однако Штернберг чувствовал: Мюллер сумел выловить в его бреде кое-что другое, весьма для себя полезное; что именно — скорее всего, ещё предстояло узнать, и при одной мысли об этом в подрёберье растекался тошнотный холод.

Шрамм достал из портфеля тетрадь в жёсткой чёрной обложке под тиснёную кожу: с виду — небольшая книга, около сотни крепких листов. Штернбергу показалось, будто время прорвалось брешью в прошлое. Воздействие наркотиков? Он всё ещё бредит? Этого предмета просто не могло существовать. Штернберг сам сжёг эту тетрадь, он отлично помнил, как бросил её в камин за день до операции «Зонненштайн»... Углы тетради и впрямь были немного обуглены. Штернберг уставился на полосатый жёлто-чёрный галстук набриолиненного и вдруг понял, на кого так похож этот смутный гестаповец: на шершня.

— Сувенир, — пояснил Шрамм. — От господина Мюллера.

Первым делом Штернберг принялся вспоминать, есть ли в этой тетради — в его тайном дневнике, который был уничтожен, но каким-то образом выплыл из небытия, — что-то, способное его скомпрометировать. Как последний идиот. Именно такого мучительного замешательства от него и ждали: чернявый был явно доволен его ошарашенным видом. Действительно, в записках заключалось много такого, что запросто могло обернуться против него, однако самое уязвимое и драгоценное Штернберг не доверил даже дневнику. А Мюллеру, значит, дневник больше не нужен; не случилось ли так, что куда более интересные вещи он услышал от самого Штернберга, доведённого до полубессознательного состояния наркотиками, побоями и различными «сыворотками»?

Но, ради всего святого, откуда они взяли эту тетрадь?!

— Выходит, Мюллер счёл мои записи недостаточно занимательными? — холодно поинтересовался Штернберг.

— Напротив, он надеется, что этот предмет послужит вам напоминанием. Гестапо хоть из-под земли достанет что угодно и кого угодно, господин фон Штернберг. Следствие по вашему делу возобновят после окончания войны — в том случае, если вы не справитесь с вашей задачей. Господин Мюллер желает, чтобы вы всегда помнили об этом и работали хорошо.

Штернберг криво усмехнулся: ничего оригинального, следовало ожидать.

— И что вменяется мне в задачу?

— Об этом вы узнаете не от меня. Моя роль совсем скромная: передать вам кое-какие вещи. И предупредить.

Несмотря на некоторую полировку, в мягком стелющемся произношении Шрамма, в его манере глотать окончания оставалось слишком много баварского. В точности как у Мюллера. Едва ли это было случайностью: Штернбергу когда-то доводилось слышать, что шеф гестапо перетащил в столицу своих старых знакомых из мюнхенской полиции. Штернберг сам вырос в Мюнхене, однако баварский диалект так и остался для него чужим: язык перешёл к нему в наследство от предков, прибалтийских баронов, — очень книжный, с пристрастием к сложным предложениям и с жёсткой артикуляцией, словно бы

застывший в янтаре, что порой блестит на солнце в клочьях водорослей, выброшенных штормом на балтийский берег.

— Вы уже предупредили, вполне доходчиво, — желчно сказал Штернберг. «Бежать. И пусть попробуют достанут». — А теперь давайте сюда эту штуку.

Шрамм вручил ему тетрадь. Штернберг взял её левой рукой, на мгновение прикрыл глаза, ловя в сознании смутные тени прошлых событий, отпечатавшихся на злосчастном дневнике. Призрачное кино задом наперёд. Мюллер, опять Мюллер, какой-то обыск, деревня... Униформа погибшего ординарца Штернберга, которую гестаповцы буквально вывернули наизнанку. Тетрадь в кармане. Шрамм, разумеется знакомый с психометрией, глядел с насмешливым пониманием: ожидал, что Штернберг первым делом кинется *читать* предмет.

— Что, собственно, вам ещё от меня надо? — с тяжёлой досадой спросил Штернберг.

— Я понимаю, судьба ваших записок вам сейчас интереснее, — сказал Шрамм. — Но вы лучше поглядите в окно. Внимательно.

За окном вот уже несколько минут мелькали полужакомые улицы вперемешку с развалинами. В Берлине Штернберг бывал редко и знал его неважно, а бомбёжки и вовсе превратили город в сновидение наяву, в грань между обычной, понятной жизнью и потусторонним, страшным миром, в нечто, что выглядело бы декорацией, не будь оно таким до дрожи настоящим.

Вывернутая наизнанку обыденность. Дома с разрушенными фасадами впустили метель в своё нутро: у иных перекрытия провалились и остались только ободранные, разбитые стены, другие напоминали архитектурный чертёж — аккуратный разрез здания с комнатами, в которых как ни в чём не бывало стояла мебель, даже кое-где висели картины или фотографии. Гостиная на втором этаже, где диван с разноцветными подушками, замёрзший фикус и старый рояль соседствовали с дымным провалом, на дне которого, в грудe балок, ещё что-то тлело. Спальня с супружеской кроватью, до которой теперь можно было добраться разве что по пожарной лестнице. Поверх

ощетинившихся битым кирпичом стен, в проёмах обрушившихся эркеров над грудями горелого хлама висели полотнища с жирно выведенными лозунгами: «Победа будет нашей!», «Работать, сражаться, верить!», «Фюрер, мы следуем за тобой!», «Любой ценой — победа!». Нередко подобные бравурные банальности писались прямо на стенах. Иногда дополнялись государственными знамёнами, сюрреалистически смотревшимися посреди развалин: алые полосы на пепельно-сером, пристальный глаз-свастика, гипнотически глядевший из руин. Всё это казалось Штернбергу даже не фарсом — умопомешательством, над которым шли своим чередом будни берлинцев — странные, бредовые будни. «Мы все живы. Ирма», — кратко сообщала каждому прохожему меловая надпись на стене чьего-то разрушенного жилища, но адресована она была, скорее всего, одному-единственному человеку — мужу или брату, приехавшему на побывку с фронта. Таких посланий попадалось много, гораздо больше, чем лозунгов или официальных объявлений. Берлинцы превратили развалины в своего рода почту. Полуразрушенные стены обратились в летопись жизни — недожизни, полужизни, агонии.

— Гляжу. Внимательно. Всё вижу. Пытаетесь достучаться до моего патриотизма? — Слова давались Штернбергу трудно, будто он пытался жевать щёбёнку, и голос получался скрежещущий.

— Сейчас вы скажете, что орган под названием «патриотизм» вам отбили в гестапо, — спокойно сказал Шрамм. — Ну, скажите. Вам же очень хочется это сказать.

— Ошибаетесь, — отрезал Штернберг. — Вы кто угодно, но не телепат. Так что вам надо? — раздражённо повторил он.

— Пока ничего. — Чрезмерно выпуклые глаза чернявого, казалось, едва заметно светились изнутри, словно на бархатно-илистое дно ленивой реки с тёмной болотной водой упал тусклый фонарь. — Вы человек неординарных талантов, господин фон Штернберг. При этом вы, *условно говоря*, вышли из заключения. Ваш моральный дух сильно ослаб. Вам требуется достойный стимул для успешной работы. Отчего-то мне кажется, что одним долгом патри-

ота вам уже не обойтись. И предупреждение господина Мюллера явно не произвело на вас особого впечатления. Вот на такой случай у меня есть для вас ещё кое-что... Взгляните. — Шрамм достал из портфеля фотокарточку.

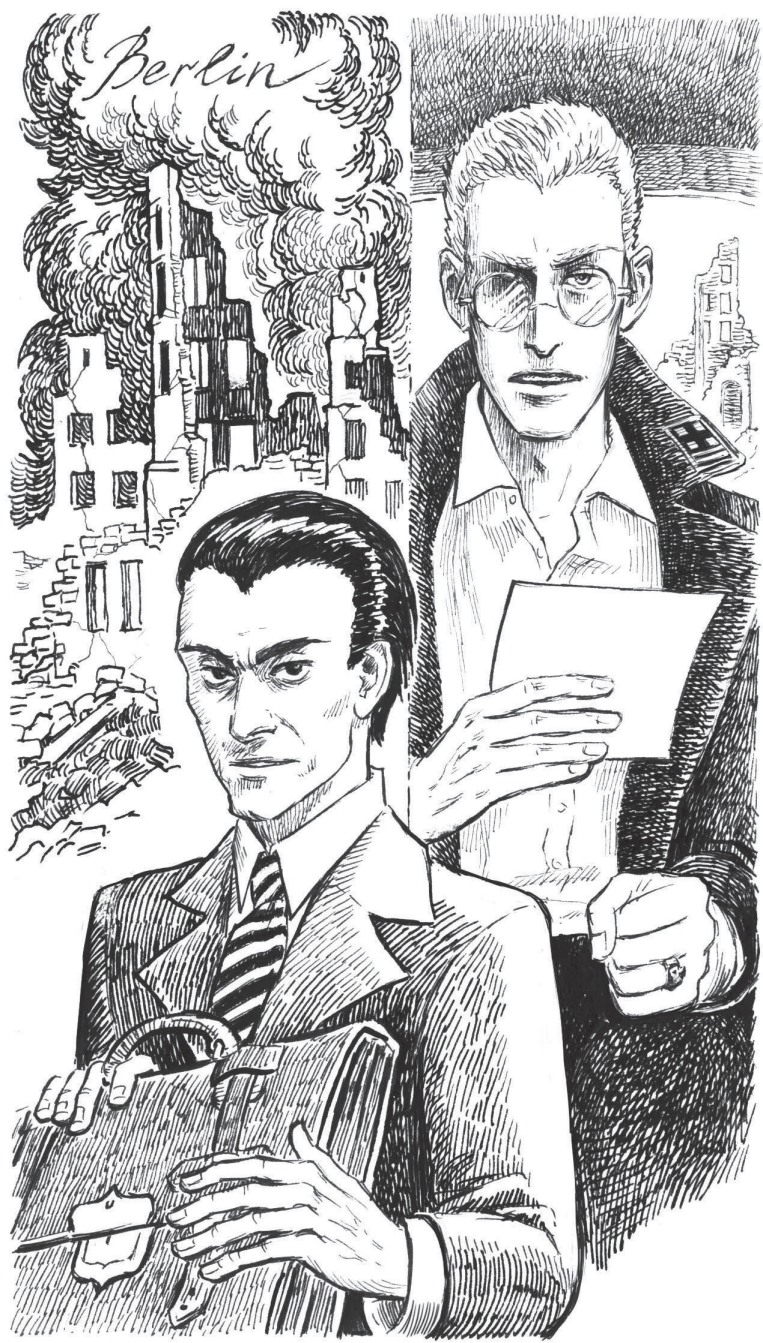
«Я точно брежу», — в каком-то отупелом ужасе подумал Штернберг. Ведь не могло же такого случиться, именно сейчас, когда он совершенно бессилён!

Фотография была из последних, уже швейцарских. Его близкие вообще очень редко фотографировались и почти никогда не фотографировались все вместе, а этот снимок был сделан по случаю годовщины свадьбы барона и баронессы, всегда, сколько Штернберг помнил, с изморозью брезгливого недоумения игнорировавших любые государственные праздники, натянуто-официально справлявших Рождество, за полтора десятилетия бедности превративших дни рождения своих детей в простое арифметическое действие, но каждый год вспоминая эту дату — день бракосочетания. На фотографии — нужно было как следует приглядеться, чтобы заметить, — отец и мать держались за руки, и льнувшее переплетение их пальцев, неразделимое, словно переплетение корней или ветвей, было гораздо выразительнее по обыкновению бесстрастных лиц.

Отец, мать, сестра, племянница. Все сидят рядом, и поэтому не бросается в глаза, что отец в инвалидном кресле. Штернбергу очень нравилась эта фотография, но её не было среди его вещей. Ни в мюнхенской квартире, ни в вайшенфельдской. Такую карточку можно было найти только в особняке в Вальденбурге, в Швейцарии, где его родные жили последние три года благодаря ему, его исключительному положению и его деньгам. Родня эсэсовца, уехавшая за границу, — случай неслыханный; «отцу требуется особое лечение» — этого надуманного и явно недостаточного повода хватило рейхсфюреру¹ СС Гимmlеру, благоволившему к молодому оккультисту, а до мнения остальных бонз Штернбергу не было дела.

— Ваша семья, не так ли? — Шрамм снова улыбнулся, показывая жёлтые жвала.

¹ Рейхсфюрер — высшее звание и должность в СС.



Штернберг чувствовал, как каждый нерв дрожит от неслышного звона: в солнечном сплетении будто играли на ксилофоне.

— Ваши родные настоящие патриоты, — продолжал Шрамм. — В такое трудное для рейха время они решили добровольно вернуться на родину. Похвально. Мужественно.

Штернберг смотрел в окно. Автомобиль тем временем миновал мост Вайдендаммер — его высокие резные фонтаны, с наверху острыми, как рапиры, по одному выплывали из снежной пелены.

Если у этого шершня есть такая фотография — значит, он или другие, сродные, членистоногие были в Вальденбурге. *Они там были.*

Господи!

— Что вы сделали с моими близкими? — глухо прозвучало будто где-то рядом со Штернбергом спустя неопределённо долгое время.

— Да ничего, говорю же вам. Они возвращаются в рейх, по собственному желанию. Будут в полной безопасности. Во всяком случае, их безопасность целиком зависит от вас.

— Где они?

— Где поселились? Я не знаю, — Шрамм развёл руками. — Он тоже, — добавил чернявый, поймав взгляд Штернберга, впившийся в шофёра. — Я вам дам совет: просто — работайте. И всё будет в порядке. Вы сами прекрасно понимаете.

Снег сыпал густо, как на рождественской открытке. Примерно год тому назад Штернберг сидел за канцелярским столом в одной из клетушек барака, в котором размещался политический отдел концлагеря Равенсбрюк, и набирал заключённых для обучения в экспериментальной школе «Цет», организованной оккультным отделом «Аненербе». Проще всего было с узниками, попадавшими в лагерь вместе со своими семьями. Таких Штернберг без особых затей шантажировал — работа на рейх в обмен на свободу близких. Элементарно и абсолютно безотказно. Абсолютно.

— Куда вы меня везёте? — мёртвым голосом спросил Штернберг.

— В отель. Там вы приведёте себя в порядок. Затем поедете на Пюклерштрассе. Там у вас состоится важная встреча, — Шрамм бесцеремонно прочерчивал ему будущее в пустоте. — Кстати, после полудня этот автомобиль будет в вашем распоряжении, а Купер — ваш шофёр.

— У меня есть свой шофёр, и я им вполне доволен.

— Вы хотите сказать, был шофёр. Дело в том, что он... м-м... несколько выведен из строя. Его допрашивали по вашему делу. Немного перестарались.

— Ублюдки. Тогда к чёрту шофёра, обойдусь.

— Но вы сейчас не в состоянии вести машину! Между прочим, мы на месте. Одежду вам доставят в номер. Портъё предупредили. Чтобы получить ключ, просто назовитесь. Здесь поблизости есть хорошее бомбоубежище, если что. Томми¹ в последнее время изрядно обленились, ну да кто их знает, вдруг прилетят...

Автомобиль остановился. Штернберг повернул к бриолиновому коротышке будто налитую жидким свинцом голову:

— Слушайте меня, Шрамм. Слушайте и запоминайте. Если с кем-нибудь из моих близких что-то случится — вы будете первым, с кого я спущу шкуру. Медленно и со вкусом. В ваших подземельях я научился многим занимательным вещам. Вы пожалеете, что в своё время акушер не оторвал вам голову щипцами. Запомнили?

Гестаповец невозмутимо покопался в портфеле и вытащил небольшую парусиновую аптечку.

— Запомнили? — Штернберг, не выдержав, схватил его за хрупкое, не по-мужски гладкое, словно обработанное политурой смуглое запястье. Больно схватил — коротышка скривился и подался назад.

— Когда я спрашиваю, надо отвечать, — с ненавистью сказал Штернберг и по тому, как недомерок произвольно выставил энергетический блок, понял, что наконец-то его испугались.

— Отпустите! — Шрамм завертелся на месте, точь-в-точь насекомое с придавленной лапой. — Ведите себя прилично. Я, конечно, понимаю, что вам не терпится за-

¹ «Томми» («Tommys») — так немцы называли англичан.

получить очередную дозу морфия, только не ломайте мне кости.

— Идите к дьяволу с вашей дозой. Запахните её себе в глотку. — Штернберг разжал пальцы и рывком распахнул дверь. В глаза ему бросились фигуры с автоматами возле отеля. — Передайте Мюллеру, что скрываться я не собираюсь, только избавьте меня от вашей чёртовой охраны!

Штернберг выбрался из автомобиля и очутился в густо налитом снегом пространстве, где воздух, казалось, быстрее тёк в лёгкие и целительным холодом обливал непокрытую голову.

— А аптечка? — приглушённо заужжал Шрамм. — Не стоит пренебрегать, по крайней мере на первое время вам хватит, а достать в нынешние времена, сами понимаете, непросто...

Нырнув в душный салон (и попутно треснувшись затылком, тело по-прежнему слушалось плохо), Штернберг выдернул у гестаповца аптечку. Пригодится: может, там найдётся что-нибудь от головной боли.

— Помните, что я вам сказал, — нёсся ему вслед голос Шрамма, постепенно тонувший в снежном шорохе. — Воздержитесь от необдуманных поступков, в противном случае вам останется винить только себя...

Штернберг ушёл не оборачиваясь. Поднялся на крыльцо, зашёл в холл, взял ключи у человека за стойкой. Придя в номер, первым делом истерзал тюбик с остатками зубной пасты, а потом принял душ — и долго стоял, не шевелясь, обмирая под тугой горячей струёй. Воду теперь давали с перебоями, но ему повезло. Затем обстриг обломанные ногти на руках и на ногах. Оделся в то, что ещё до его прихода принесли в номер. Бельё — и комплект эсэсовского обмундирования, что же ещё. Оказалось не совсем по размеру, но сносно. Он повязал галстук, удивляясь ловкости пальцев, не имевшей никакого отношения к омертвевшему сознанию, тёмному и тихому, как руины древнего города, веками погребённого под землёй.

...Что значит — *«решили добровольно вернуться на родину»*? Все силы небесные, что это значит? Как их заставили, что с ними сделали? Сами они никогда и ни за что не вернулись бы в рейх; «государство торжествую-

щей черни» — вот как они это называли. Подобные слова постоянно звучали в их мюнхенском доме, и одному Богу ведомо, чем бы всё закончилось, если б Штернберг не предложил свой редчайший дар чёрной гвардии фюрера — СС. В начале сорокового года он, тогда студент философского факультета, пришёл домой поздно, благоухающий выпивкой и скрипучей кожей, в великолепно подогнанном мундире; ожидал чего угодно, но только не спокойного ледяного ожесточения, окатившего его с ног до головы. Усмешка сестры, осуждающее молчание матери. За всех высказался отец: «Убирайся туда, откуда пришёл. Ты теперь для меня никто, я не желаю тебя знать». Больше отец не сказал ему ни слова, ни разу. Просто перестал его замечать. Более того, перестал о нём думать.

Потом Штернберг долго считал, что в свои двадцать, двадцать два, двадцать четыре года с разгромным счётом обыграл отца на поле жизни. Да, отец не умел жить; единственное, в чём преуспел, вернувшись с Великой войны¹ четверть века тому назад, — пополнил своё небольшое семейство, дал жизнь сыну. Не добился никаких постов, постыдно и нелепо погряз в долгах, сдался под напором болезни. Не завёл ни полезных знакомств, ни друзей — он вообще был нелюдим, — даже врагов не нашёл, если не считать озлобленных кредиторов да трусливых гестаповских доносчиков, но зато так гордился своими неслышимыми принципами. Штернберг, лихо шагавший вверх по высоким ступеням должностей и званий, Штернберг, чей роскошный чёрный «Майбах»-лимузин стоил больше того, на что отец содержал свою семью в течение нескольких лет, даже не стеснялся признаться себе, что обеспечил близким отъезд в Швейцарию не только ради того, чтобы уберечь их от лап гестапо, но и потому, что своими неосторожными высказываниями они запросто могли переломить хребет его стремительной карьере. В сущности, они давно стали для него чужими — за исключением маленькой племянницы, редко его видевшей, но любившей с трогательной преданностью, не по-детски стойкой

¹ Первая мировая война вошла в историю Европы под названием «Великая война».

ко всему тому, что ей про него наговаривали те, кто его не понял, отверг... предал. Они умели вычёркивать, это у них получалось отменно. Почему же он так боится за них — за всех, без исключения?

Не было сил. Штернберг опустил в кресло и не двинулся даже тогда, когда сирены где-то на окраинах затянули тоскливый вой — сначала слабо и разрозненно, но вскоре их поддержали те, что находились ближе, и вот уже взвыл весь город. Как теперь выдержать обречённые взгляды берлинцев?

«Вот какое будущее ты избрал. Для себя и для Германии».

Голова раскалывалась. Штернберг вспомнил, что у него помимо дневника и пистолета без патронов есть аптечка. Открыл: ни пилюль, ни бинтов, лишь округлый блеск ампул да шприц в футляре. Сквозь прозрачное содержимое ампул проглядывал искажённый фрагмент мелкой надписи: «Morphium hydrochl». Так вот что за лекарство выдал проклятый коротышка. Первой мыслью Штернберга было вышвырнуть аптечку в окно. Но за окном город стenal — и рвал душу в клочья. Вопреки отчаянному усилию воли — *«Стой, будь ты проклят, что же ты делаешь?!»* — руки жадно схватили шприц и надели иглу. Штернберг даже поймал себя на том, что следит за ними с отстранённым интересом. Руки обломили конец ампулы и набрали в шприц раствор; однопроцентный, жидковато, пожалуй, будет после месяца ударных доз. Вот, оказывается, как это выглядит — морфинизм. Закатать рукав, выпустить из шприца воздух. Кожа на локтевом сгибе была тошнотворно-тонкая, прозрачно-голубоватая, в следах недавних уколов — очень небрежных, с кровоподтёками. Скривившись, Штернберг ослабил галстук, расстегнул рубашку и нацелил иглу в плечо.

Через минуту-другую вой сирен отодвинулся, превратившись в незначительный фон для обновлённых, чётких, гранёных мыслей — как если бы сознание надело очки. Призрачные тёплые ладони бродили по спине и шее, пряный холодок растекался по внутренностям. Сразу проснулось желание действовать — и Штернберг выдернул из старой рубашки нить и смастерил сидерический

маятник, привязав к нити серебряный перстень. На некоторые вопросы он прямо сейчас должен был получить ответ, чтобы не спятить от неизвестности. Если, конечно, наркотики не вывихнули ему чутьё напрочь.

Сел за стол, облокотившись, чтобы не тряслись руки. Кольцо висело на нити, чуть поворачиваясь. И так...

«Мои близкие в безопасности?» — мысленно спросил он. Маятник начал раскачиваться — вперёд-назад. «Да».

Штернберг выдохнул, рука дрогнула, и нить заплесала во все стороны. Подождал, пока маятник прекратит движение.

«Они в рейхе?» — «Да».

«В Берлине, в окрестностях?» Вправо-влево. «Нет».

«В Баварии?» — «Да».

«В Мюнхене?» — «Нет».

Надо было задать ещё один вопрос — тот, что никак не давался даже в мыслях.

Шемающий июльский вечер, весь в полосах рыжего предзакатного солнца. Паспорт в его руках — билет в новую жизнь, но не для него: печать с швейцарским гербом, фотография большеглазой девушки. Её новый паспорт, за который Штернберг был готов отмерять ведро собственной крови.

«Дана...»

Маятник ходил во все стороны, выписывал спирали и восьмёрки, и невозможно было его унять.

«Она в Швейцарии?» — «Нет».

Задрожали руки.

«Она в рейхе?»

«Да». Да!

Она жива, она в опасности? Да, да, да — или это дрожь рук передаётся тонкой нити? Штернберг сжал кольцо в кулаке. Заставил себя успокоиться.

«Она в опасности?»

На сей раз маятник не ответил ничего определённого, но слабое покачивание скорее смахивало на «нет».

Пол содрогнулся от далёких ударов: бомбардировщики прибыли выполнять свою будничную работу — перемалывать Берлин в горы битого кирпича и камня. Штернберг неотрывно смотрел на перстень в ладони, но